

ДВЕРЬ

Мне редко что-нибудь снится. А если все-таки приснится — вскинусь вся в поту и упаду опять на подушку, дожидаясь, пока уймется сердце, размышляя о всемогущей, необоримой магии ночи. В детстве и юности я никогда не видела снов — ни хороших, ни дурных, а под старость накатывают и накатывают волны прошлого, вынося его страшные пугающие сгустки. Потому они и страшны, что спрессованней, трагичней пережитого. Наяву ничего ведь со мной не случилось, отчего теперь я с воплем просыпаюсь.

Сны мои в точности повторяют друг друга. Собственно, это всегда один и тот же сон. Стою на нижней площадке у входной двери с толстыми непробиваемыми стеклами в железном решетчатом переплете, стараясь ее отпереть. Наружи, на улице — машина скорой помощи. Через стекло вижу зыблущиеся силуэты врача и сестер, их неестественно расплывающиеся лица в радужных ореолах, наподобие луны в тумане. Ключ поворачивается, но замок не открывается, хотя надо как можно скорее впустить их к больной, чтобы не опоздали. Дверь не поддается, несмотря на все мои усилия, будто намертво впаялась в железную раму. Зову на помощь, но никто не отзывается, ни с одного этажа:

не слышат. Да и как услышать: мне ни звука не удастся издать! Только рот разеваю, словно рыба, вытасченная из воды. Это уже верх ужаса в моем страшном сне: сознание, что не только дверь не повинуется мне, но и язык.

Будит меня обыкновенно мой собственный крик. Я зажигаю свет, пытаюсь побороть удушье, которое мучает всегда после такого пробуждения. Вокруг — знакомая обстановка: спальня, семейный фотоиконостас на стене. Мои всевидящие, всепонимающие предки в тугих стоячих воротничках, в шитых серебром доломанах по моде венгерского барокко или бидермейера. Они одни могут засвидетельствовать, сколько раз по ночам сбегала я вниз отпирать, сколько раз думала, вслушиваясь в звуки, которые доносились с притихшей улицы, — шелест веток, шорох прошмыгнувшей кошки: а что как опять не сумею открыть, не поддастся замок?

Фотографии, они все знают, помнят — особенно то, что я больше всего хотела бы позабыть: случившееся уже не просто во сне. Как однажды, один-единственный раз, не в ночном обескровленном мозгу, а среди самого что ни на есть бела дня, дверь передо мной отворилась; дверь, которую, невзирая ни на что, даже на пожар, никому не открыла бы прятавшая там, за ней свою беспомощность, бедственное свое одиночество. Ключ от того замка доверен был только мне, владелица его полагалась на меня больше, чем на самого Господа Бога. А я в ту роковую минуту как раз и возомнила себя божеством: добрым, здравомыслящим, мудрым и предусмотрительным. Обе заблуждались: она, знавшая меня, и я, зазнавшаяся. Теперь-то, положим, уже все

равно, прошлого не воротишь. Так что можете являться, вы, эринии¹, в косынках с красными крестами поверх своих трагических масок, в казенных текстильных ботинках на высоких, как котурны, каблуках; можете становиться в ряд у моей постели со своими карающими снами, этими своими обнаженными обоюдоострыми мечами. Каждый вечер гашу я свет, готовая к вашему приходу, — и, только засну, в ушах уже дребезжит звонок, при звуке которого непостижимый ужас гонит меня к нипочем не открывающимся дверям.

Вероисповедание мое не признает индивидуальной исповеди. Все мы, так или иначе преступая божественные заповеди, каемся в своих прегрешениях устами пастора и получаем отпущение, не вдаваясь в явные и тайные подробности. Но я хочу дать в них полный отчет.

Не Богу, который и без того прозревает мою душу, и не теньям, немым свидетелям моих снов и каждого моего часа, а людям. Я не робела в жизни — и так же, не трепеща и не лукавя, надеюсь встретить и свою смерть. Но для этого прежде надо сказать всю правду: это я убила Эмеренц. И пусть хотела ее спасти, а не сгубить, это уже ничего не меняет.

¹ Эринии — богини мщения в древнегреческой мифологии.

Мы постояли. Сверху из закрытых окон доносилась тихая музыка. Нешумливые верхние жильцы приглушили передачу, но я сразу узнала траурно-золотистый моцартовский Реквием. Я продолжала молчать: что мне было ответить? Ничего нового она мне не сказала. Все верно, кроме одного: любовь нисколько не мешает ей наносить удары, которые валят с ног. Убивают наповал. Именно оттого, что она меня любит, а я — ее. Давно бы пора догадаться: именно те и причиняют наибольшую боль, кто нам безразличен. Но этого-то как раз она и не желает понимать.

— Вернитесь, не упрямитесь. Это все порода наша проклятая, альфельдская. И в вас говорит, и во мне. Что смотрите? Зову, значит, нужно.

Зачем? Что ей понадобилось? Картина готова, зеркало подставлено под самый нос, хотя за зеркало заглянуть она, как ни умна, не сумела. И зеркало-то нужно ей, чтобы по голове им стукнуть.

— Идите, подарочек есть для вас. Зайчик, пасхальный зайчик.

Таким умильным тоном она разве только с детишками на улице разговаривает: они к ней льнут, подобно Виоле. Сколько раз, бывало, обернусь и наблюдаю. «Пасхальный зайчик» на Страстную пятницу... а слив не сварила, привычку мою поминать усопших осмеяла. Зато вот «подарочек» купила. Она — сторона дающая, дарующая, ей можно, а мне нет, запрещено.

— Не пойду я, Эмеренц. Все, что могли, мы друг другу уже сказали. Племяннику вашему я все по телефону передам. Можете, если хотите, у себя оставить на ночь Виолу.

Лица ее я не видела, так как внезапно совсем стемнело. Весь день ждала я дождя, в Страстную пятницу бывает обычно ветрено и дождливо. Вот и сегодня природа не преминула оплакать Христа, хоть и припозднилась. Первые крупные капли упали, и ветер налетел.словно дыхание какого-то огромного мифического существа — самой вселенной — коснулось наших лиц, предвестие бури. Я знала: единственно, чего Эмеренц боится, — это грозы, и напрасно я буду противиться, не позволит уйти, потащит обратно. Виола прибежала и, поджав хвост, скуля, стала царапаться в неизменно запертую дверь. Молния прорезала небо, и

громовой раскат заглушил собачье подвывание. Воздух был насыщен электричеством, и через несколько мгновений ничего не стало видно: сплошная тьма да присвечиваемая синими вспышками дождевая пелена кругом.

— Тихо, Виола. Сейчас, собаченька, сейчас.

Синеватый сполох. Серебряный просверк — и громовой удар. При свете молнии успела я увидеть ключ, который Эмеренц выудила из своего накрахмаленного кармана. Пес взвизгнул.

— Тише, Виола. Тише!

Ключ повернулся. Молния озарила наши обращенные друг к другу лица. Эмеренц не спускала с меня глаз. Я же не верила своим: как, этого не может, не должно быть! Эта дверь ни перед кем еще не отворилась. Не откроется и сейчас. Это невысказано, невозможно.

— Слушайте внимательно. Вздумаете меня предать — прокляну. А кого я прокляла, всегда кончали плохо. Увидите сейчас, чего еще никто не видел. И не увидит, покуда жива. Ничего — по вашим понятиям — ценного у меня нет. Но раз уж больше, чем стоило, задела вас сегодня, отдаю то единственное, что имею. Все равно рано или поздно к вам перейдет; значит, собственно, уже ваше. Вот и покажу — еще при жизни. Входите, входите. Не бойтесь. Входите смелее.

Она вошла, я за ней. Виола уже проскользнула перед нами. Эмеренц не зажигала света, и я, сделав несколько неверных шагов, остановилась в непроглядной, крошечной тьме. К знакомому поскуливанию Виолы примешивались еще какие-то неясные, еле слышные шорохи — вот как прошмыгнет ночью мышь. Я стояла не

двигаясь; в таком абсолютном чернильном мраке мне еще не случилось оказаться. Вспомнились ставни, которые, сколько мы здесь живем, ни разу не открывались.

Затем все залил свет — не желтоватый, а резкий, ярко-белый. Лампочка была, самое меньшее, стосвечовая, электричества Эмеренц не сэкономила. Мы находились в высокой и просторной свежевыбеленной, на загляденье чистой комнате. Газовая плита, мойка, стол, пара кресел, два больших шкафа — и знавшее лучшие дни, столь модное когда-то канапе с продранной фиолетовой бархатной обивкой. Под стать чисто прибранному жилью — аккуратный рядок стаканов за кисеей в старомодном буфете. Был там еще старинный, заправлявшийся льдом холодильный шкаф, немало меня удививший: откуда она лед берет для него? Вот уже сколько лет его больше не разносят. Собака забила под канапе: верный знак, что гроза достигла апогея. И здесь тоже едко пахло хлоркой и дезодорантом; но в остальном в этой любовно обставленной и обихоженой комнате-кухне, столь тщательно оберегаемой от любопытных взоров, не было ничего потайного или поражающе странного. Кроме разве одного-единственного предмета: огромного несгораемого шкафа, которым заставлена дверь в другое, собственно жилое помещение. Сдвинуть этот изолировавший его от кухни сейф разве что целой бригаде взломщиков под силу. «Ага, grosмановский сейф, — подумала я. — А там, значит, оставленная ей обстановка. Но кто же проникнет туда? Она и сама без посторонней помощи не войдет». На дворе гремел гром, лил дождь; Эмеренц, сиюсь обуздать свой страх, стояла бледная как смерть.

Позже выяснилось, что в сейфе не было ровно ничего, кроме великого множества кружек.

Я осматривалась в замешательстве. Тут и ваза с цветами, а на сверкающем чистотой каменном полу — коврики: похоже, старательно разрезанные на кусочки остатки старого персидского ковра. Подметила я еще блюдечки и безошибочные атрибуты кошачьего присутствия: противни с песком. Так вот что прячет Эмеренц от посторонних глаз!.. Девять глазурированных блюдец с остатками пищи и девять маленьких противней под раковиной и вдоль стены у буфета. А между шкафами, весь в пришпиленных фотокарточках, наподобие грудастой статуи какого-то голого маршала с одними знаками отличия вместо мундира — принадлежавший моей матери манекен для примерки платьев. Был среди фотографий и чей-то вырезанный из старой газеты портрет: восторженное юное лицо.

— Да, вот какой он был, — сказала Эмеренц, хотя я ни о чем не спрашивала. — Как раз после его ухода нашла я ту пеструю кошку. Которую повесили. Не надо, не стоит меня жалеть. Нельзя чересчур привязываться — ни к человеку, ни к животному.

За каждым раскатом грома из-под канапе, будто в ответ, раздавалось повизгиванье.

— Потом другую нашла. Здесь их кругом хватает. Возьмут котенка, ребенку вместо игрушки, а подрастет — выкинут. Подальше куда-нибудь занесут да подбросят в чужой сад. Ну а эту, вторую, отравили... тогда я не стала ничего больше говорить, просто решила: не буду выпускать, пусть дома живут, вон как болонки в господских домах, иначе не убережешь. Вначале-то

не было столько у меня, не совсем я чокнутая, вначале один только кот был, которого я сразу выхолостила, чтобы спокойнее ему, больше держать не собиралась; но потом попалась одна, больная, выходила ее — и не хватило духу на улицу выбросить. Славные они такие, ласковые, радостно так встречаются... зачем ведь и жить, если никто твоему приходу не рад. Как уж стало девять — хоть убейте, не помню. Одну из сточной канавы вытащила, все наверх карабкалась: взберется и сорвется, взберется и сорвется с жалобным таким мяуканьем... Двоих котят мусорщик принес, тот, знаете, который поприличнее. Бросил кто-то бедняжек в бак в полиэтиленовом пакете; думала, не выживут, ан нет, самые красивые сейчас. Серая — после печника осталась. А тройка черно-белых — это дочки той, из сточной канавы, резвушка, самые забавные. Каждый новый приплод уничтожить приходится, как быть... но этих игруний пожалела. У каждой звездочка на грудке. Таких нельзя убивать.

Стою, слушаю. Гроза ушла, гром стих, отдаленные зарницы слабо освещали небо, ярко горела только лампочка Эмеренц.

— Они у меня знают, что тихо надо сидеть, нельзя высываться, хорошо помнят пережитое, опасность чувствуют загодя. Придете делать уколы — не думайте, сразу все поймут. Но вы их не жалейте, ни одной не оставляйте. Умертвить — милосерднее, чем на небезопасное бездомное, бродячее существование обречь. А перед тем как убить, мясом накормите досыта; мяса они не едали. Можно и яду подсыпать, тогда и ловить их, гоняться не придется. И смотрите, язык за зубами

держат! Никто о них покамест не знает. Узнают, что их девять, семерых выкинуть заставят, потому что только двух разрешается держать; санинспекцию натравят. А я их всех от верной гибели спасла, мне они братни-на сына дороже. Вот, доверилась, впустила вас — это мой самый большой подарок вам. Можете посмотреть на них, только не шевелитесь, они пугливые, одну ведь меня да Виолу знают. Виола! Ты где? Гроза прошла, хватит придуриваться. На место!

Собака вылезла, вскочила на канапе, где уже успело образоваться углубление от ее лежания.

— Ужинать! — вскричала Эмеренц.

Сначала ничто не отозвалось, не шелохнулось. Она почти шепотом повторила свой зов, и тогда снова слышалась возня вроде мышьиной. Вся комната пришла в движение, и я увидела все Эмеренцево семейство. Все девятеро, не обращая на меня внимания, повывлезали из своих укрытий, из-под кресел и шкафов. Единственный звук оглашал помещение: пес отбивал хвостом веселую дробь на канапе. Остановясь у пустых блюдец, кошки подняли свои изумрудные глаза на Эмеренц, которая принялась разливать у плиты из большой миски какое-то варево вроде лечо. Каждой относила она блюдец, ставила, низко нагибаясь — и все это с не сходящей с лица доброй улыбкой. Зрелище было не то что неправдоподобное, а похожее на какое-то цирковое представление. Вот это послушание, вот это дрессировка! Охочий до еды пес даже вида не показывал, что голоден, только хвостом давал знать о своем присутствии. И кошки ничуть не боялись собаки, давно перестав считать ее животным чужой породы. Напоследок получила свое и она; особая миска для нее стояла

на подоконнике. Дома она никогда не ела лечо, а тут даже вылизала миску — и чуть ли не вызывающе уставилась на меня: вот, мол, какая я молодчина.

— На место! — скомандовала Эмеренц, и пес прыгнул обратно на сиденье.

Кошки забрались туда же, расположась вокруг, а какие не уместились, пристроились повыше, на изголовье в грациозной классической позе лежащего на ветке зверька. Некоторые вскарабкались на манекен, примостясь у него на плечах, над фотокарточками (была среди них и моя). Эмеренц сказала, что теперь у нее ни секунды больше нет, воду надо идти выгребать: наверняка затекло в подвал. Виолу она оставила пока у себя, пусть, мол, пообщаются животные. Мы вышли и немножко прошли вместе. Улица после дождя благоухала, и все было опять как в шестой песни «Энеиды»: ночь, зыбкие тени, неверный, притуманенный свет луны, пробирающейся сквозь облака.

Едва переступила я порог нашей квартиры, слезы хлынули у меня из глаз. В первый раз в жизни я не смогла, да и не захотела объяснить мужу, о чем плачу. Так ничего и не ответила на его расспросы. Единственный случай за все наше супружество.